



Полина Барскова

Живые картины (сборник)

«Издательство Ивана Лимбаха»

2014

УДК 821.161.1-3«20»
ББК 84.3(2=411.2)6-4

Барскова П.

Живые картины (сборник) / П. Барскова — «Издательство
Ивана Лимбаха», 2014

Для окончательно свободного и окончательно одинокого «экзистенциального» человека прощение – трудная работа. Трудная не только потому, что допускает лишь одну форму ответственности – перед самим собой, но и потому, что нередко оборачивается виной «прощателя». Эта вина становится единственной, пусть и мучительной основой его существования, источником почти невозможных слов о том, что прощение – и беда, и прельщение, и безумие, и наказание тела, и ложь, и правда, и преступление, и непощение, в конце концов. Движимая трудной работой прощения проза Полины Барсковой доказывает этими почти невозможными словами, что прощение может быть претворено в последнюю доступную для «экзистенциального» человека форму искусства – искусства смотреть на людей в страшный исторический мелкоскоп и видеть их в огромном, спасающем приближении.

УДК 821.161.1-3«20»
ББК 84.3(2=411.2)6-4

© Барскова П., 2014
© Издательство Ивана
Лимбаха, 2014

Содержание

Прощатель	6
Галерея	14
Заря Паблито	14
О тех, кто губит корабли, приманивая их ложными огнями	16
Горький в Лоуэлле	18
Modern Talking	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Полина Барскова

Живые картины

Тексты Барсковой, собранные в «Живых картинах», имеют дело с мертвыми людьми, которых необходимо заново сделать живыми. Каждого из них надо за руку вывести из несуществования. Для них автор строит из веток и перьев что-то вроде ледяной Валгаллы – кристаллическую структуру, где всех видно на свету и на просвет и никто не растворяется в общем сиянии.

Мария Степанова

Самая нежная и точная проза на русском языке, которую я читал за последние годы. Будто домой вернулся. Барскова возвращает смысл двум страшно деградировавшим словам – «лирика» и «история». Лирика – не патентованная задумчивость. История – не костюмированная драма. Лирика связана с тонкими чувствами и при этом не противоречит их анализу – вспомним Пруста. История соединяет нас антропологической солидарностью с теми, кто когда-то жил и умер. «Живые картины» лиричны и историчны именно в таких измерениях.

Кирилл Кобрин

Эта книга – своего рода продолжение поэтического цикла Барсковой «Справочник ленинградских писателей-фронтовиков: 1941–1945», возможно, лучших стихов о блокаде Ленинграда. Но блокада – еще и предмет исследований Барсковой. Сочетание достоверности и страстности – ключ к «Живым картинам», в которых исчезает различие между большой историей и личным опытом. История, как истории, складывается из мучительных, страшных, стыдных, смешных, незабываемых мелочей. Автор не коллекционирует эти мелочи, но проживает каждую деталь, буквально осязая ее языком своей прозы и драматургии и так восстанавливая, казалось бы, навсегда утраченную субстанцию – вещество истории.

Марк Липовецкий

«Живые картины» Барсковой – выстраивание памяти, ее овеществление в слове. Необыкновенно впечатляющая реанимация документа. Воскрешение ленинградской литературы – «недовыраженной, недопрочитанной, изъевшей себя компромиссами, в конце концов – неотразимой». Долгожданное рождение новой прозы.

Илья Кукуй

Прощатель

I

Снежные хлопья всё росли и обратились под конец в белых куриц. Одна из них, отряхнувшись, оказалась небольшим пьяницей с пластиковым пакетом в руках. Из мешка торчала герань.

Подойдя к девочке, прохожий стал заглядывать ей в лицо. Совершенно размокшее, оно было раскрашено как будто для подслеповатых взглядов оперного райка: огромные брови, огромные губы, тяжёлые собачьи глаза, преувеличенные жирными чёрными тенями. – А тепло ли тебе, милая? А не жениха ли ты здесь ждёшь? – Мне бы спичек. – А меня жена из дома выгнала. А давай я тебе скажу. – Он рыгнул и монотонно страшно зашептал, не глядя: – Смотри...

Смотри: так хищник силы копит:
Сейчас – больным крылом взмахнёт,
На луг опустится бесшумно
И будет пить живую кровь...

– Ого, – почти не удивившись, засмеялась она. – Прямо греческий хор. Мне бы спичек? Не были бы Вы так любезны? Не найдётся ли у Вас случайно?

Было ясно, что Морозко поддаётся только на избыточную вежливость.

За три часа под снегом её карманный коробок совсем сник.

– А нету, вот цветок бери.

Она рассеянно, послушно ухватила полный снега мешок и стала идти.

Справа из светло-бурого неба на неё вывалился клодтовский конь, весь выгнутый, но уже готовый поддаться, злой.

II

Пока его очередная мучка-мушка отдыхала, пытаясь отдышаться, покрытая лёгким потом, Профессор, прислонясь лицом к стеклу, вспоминал и вспомнил до слова (уникальная память!):

«Невдалеке от эстрады в проходе стоял человек.

Крепко сбитый, выше среднего роста, он держал руки скрещёнными на груди.

Он был странно одет, почти неприлично для тех времён, для довоенного 13-го года: на нём был шерстяной, белый, безукоризненной чистоты свитер: лыжник, пришедший прямо из снегов, это впечатление усиливалось обветренным цветом лица и слегка кудрявыми тускло-рыжеватыми волосами; светлые, почти стеклянные, как у птицы, глаза.

Все проходили мимо него, слегка даже задевая его в тесноте, никто не подозревал, что они проходят мимо самого Блока.

Фотография поэта оповестила всю Россию о его облике – фотография передержанная: чёрные кудри, чувственный рот, полузакрытые, с прищуром чёрные глаза, образ демона в бархатной куртке, с отложным воротником, а главное – этот демон вторил ещё каким-то ранее виденным оперным образам!»

Профессору нравилось представлять его себе – белоглазого, с обветренной кожей неузнаваемого невидимку, не того, кого они все ждут.

Он и сам себе казался таким невидимкой, никто не знал ни его, ни его настоящего голоса, и это незнание было его смыслом и утешением.

III

Тоска – томление – прелесть архива: ощущение головоломки, мозаики, как будто все эти голоса могут составить единый голос, и тогда сделается единый смысл, и можно будет вынырнуть из морока, в котором нет ни прошлого, ни будущего, а только стыдотоска – никто не забыт ничто не забыто – никому не помочь, а забыты все.

Кто я, не Харон ли я?

Ночной кораблик в Питере, стайка резвых иностранок: – А Вы нас покатаете? – Покажем? – А Вы насколько пьяны? – Да пошла ты! – ласково-удивлённый клёкот. Мы заходим на кораблик, и я вижу возле руля початую бутылищу, даже скорее жбан. Харону трудно на трезвую голову: души ропщут.

Архивист перевозит души из одной папки в другую, из такой папки, откуда никто никогда не услышит, в такую, откуда кто-нибудь – ну хоть совсем ненадолго.

Читатель становится архивом для того, чтобы произвести новых читателей, это уже физиология, остановиться читать нельзя.

Иногда казалось, что единственный способ снова сделать это читаемым – переписать всё заново, как башмачкин, букву за буквой, язычок старательно высунут: как у котика, как у ботика. Обвести блёкнущие каракули, таким образом их обновив, привнеся в сегодня сам этот акт по-над-писывания.

Слово за словом, исчезающие, как жир и сахар в ноябре, склонения спряжений. Запятые и тире бледнеют и падают, перестают делать смысл, не дышат и тают. Знаки препинания умерли в блокадных дневниках первыми, лишние знаки, как лишние люди, бескарточные беженцы из Луги и Гатчины.

Главное – противостоять времени: время будет давить на тебя.

Но смысл всей затеи – не дать чужому времени смешаться с временем, которое ты несёшь себе, в себе.

IV

Вот и ещё один голос высовывается, выплывает, расправляется и раздаётся.

Катя Лазарева, шести лет в 1941 году, сероглазая суровая насмешливая.

Играли с мамой в буриме. Мама начинала:

Шёл дистрофик с тусклым взглядом,
Нёс корзинку с мёртвым задом.

Катя заканчивала:

Шёл дистрофик по дороге.
У него распухли ноги.

Или так:

Идёт дистроф, качается, вздыхает на ходу:

Сейчас стена кончается, сейчас я упаду.

А по вечерам они устраивали шарады.

«Первая часть слова: поэт – чёрные кудри, чувственный рот, полузакрытые, с прищуром чёрные глаза, образ демона в бархатной куртке.

Вторая часть слова: папа в длинной ночной рубашке изображает грешника, которого чертовка-мама жарит на сковороде».

Как было сыграно междометие «А», Катя Лазарева не помнит, но всё слово в целом было представлено так: саночки с ведром воды и баночками для столовской каши, которые тащил спотыкающийся от голода дистрофик. БЛОКАДА.

V

А вот и ещё один голос.

Всю жизнь итальянский еврей Примо Леви с упорством бестактного вредоносного насекомого сумасшедшего писал о выпавшей ему неудаче.

Смущённое мировое сообщество выдавало ему премии и призы, благо теперь это было совсем легко. Получая приз, он ещё полгода его переваривал, как удав, а потом выпускал из себя новый том.

Ни о чём другом он ни писать, ни говорить не мог, и сны видел про это, и в болезненную безликую жену входил про это, и истерики долго умирающей матери устраивал про это.

В его случае продвижение от одного текста к следующему означало укрупнение кадра, уточнение детали:

при попытке ощущение скорее таково нежели

воняло теперь более так чем двухнедельная дизентерия

Как и все наделённые природой и историей таким тембром, он не смог хорошо приклеиться к быстрому течению времени, оно его отторгло и выбросило – в пролёт лестницы.

Смущённая мировая общественность постановила, что это был несчастный случай, и присудила ещё одну премию – за изящество и скорость полёта, за то, что освободил он их всех от своих воспоминаний.

VI

Когда лагерь освободили, первое, на что он накинудся, были книги, и книги ему были такие: учебник по гинекологии, франко-немецкий словарь, сборник «Волшебные сказки о животных».

Когда же он стал писать свои книги, лучший друг, тоже, кстати, из вернувшихся, бросил ему тёплое, как плевок, слово: прощатель!

И в самом деле, Примо не хотел более смерти персонажам своих страшных снов, не хотел мести, не хотел, чтобы теперь их повели и потащили.

Он не умел не думать о них, не умел не писать о них, а красивой справедливой их гибели желать у него уже сил не было.

Сказки о волшебных животных – лисах, коршунах, шакалах и волках.

VII

Пухлые старые руки яростно держали дверцы лифта. Отец не давал им сомкнуться, как будто лифт был громадной раковиной или морским чудовищем, покусившимся на сочненькую, полную нежных хрящичков Андромеду, тянущим её на дно на дно.

Никогда не умевший ни сопротивляться своим капризам, ни потом вспомнить о них, Отец должен был выкрикнуть сейчас свой абсурдный приговор в эти створки, и это означало, что ей придётся выслушать и услышать то, чему лучше бы в слове не воплощаться.

Теперь он это скажет, и жизнь её сгорит и сгниёт и станет полрой.

И это полрое гнилое выморочное пространство наполнится тоской.

Когда он наконец выдохнул слова своей роли, она вся обратилась в зрение, смотрела ему в лицо, которое знала как своё, ведь это и было её своё лицо:

огромные брови, огромные губы, собачьи глаза, совершенная асимметрия – передержанная фотография.

Он был её тайна, всем известная, никому, кроме неё, не интересная, излучающая внутрь её стыд.

Тайна – это то, что ты носишь в себе.

В этом смысле она сейчас была тайной лифта гостиницы «Октябрьская», и орущий старец пытался её выковырять из этого сокровенного состояния. Тайна – это то, что ты носишь в себе невидимым, и оно в это самое время производит тебя, превращая тебя в чудовище. Тайна радиоактивна.

VIII

Профессор всегда помнил эти стихи:

Она разводит паучков
Они висят над головой
Головки виснут над землёй
И странен очерк синевы
В сетях паучьей головы

Он так любил свои колыбельные, в чёрное смертное время они опеленали-оплели его («паук» – аэростат воздушного заграждения) как младенчика, чтобы лапки на себя не наложил (а что Вы знаете о блокадном самоубийстве? Тысячи и тысячи и тысячи).

Всегда те песенки жили в нём, как раковая опухоль, как плод, как косточка.

Толкались, воздействовали, когда он брился, лгал лгал жене, когда позволял новенькой старательной студентке трогать его там, да так, что её сухое розовое темечко всё покачивалось вниз, как пучок водорослей.

И чем более он наполнялся и томился ими, своими песенками, тем более он знал, что никогда не выпустит их из себя.

Ему была смешна и отвратительна мысль, что стихи выползут из него, попадутся кому-то на глаза.

Кому-то придёт в голову, что их следует понимать или не понимать.

Кто-то увидит в них не их уродливую музыку, не их никак не классифицируемые совершенно особые формы и окаменелости, выступы и провалы, а самое простое, наворованное у времени, сквозь которое они прожили, которое в них вмерзло.

И тогда всё, что будет зримо, – будет опечатка, ошибка, неловкость, не то.

«...Всю жизнь писал стихи. Их сборник под названием „Стихи“ вышел в Швейцарии под псевдонимом Игнатий Карамов. Однако издание это, опубликованное без моего призора, изобилует грубыми ошибками и искажениями. Достаточно сказать, что на стр. 23 переставлены местами две строфы стихотворения „Обида“». Строфы переставлены, обида заливают глаза, от ноября к декабрю она длинным острым языком гадины слизывает нежные запятые, тщетные восклицательные знаки, к январю всё пусто, белым-бело.

IX

Не является ли обидой-ошибкой и весь скарб той зимы, которую надо бы всё же похоронить всё же: как весело тогда пролетели по февральским улицам грузовики, собирая январских пеленашек.

Их называли «собиратели цветов» (завёртывали в цветные яркие одеяльца, чтобы на снегу было видно).

Их называли «подснежники» (понятно почему – в предчувствии апрельских чудес).

Приехавший на три дня в город военкор, заедая свой творческий и отчасти этнографический процесс американской тушёной, завёл для такого в блокноте специальный раздел: БЛОКАДНАЯ ШУТКА.

И в самом деле – зимой казалось, что все они смеялись; цинготные кровавые дёсны оскалились; улыбающиеся, темнолицые, как обезьяны, они – дистрофы – двигались по городу.

Те, кто выжил, слишком быстро потом округлившись, заплывшие, задумчивые, потом, встречаясь, молчали, как заговорщики.

О зиме нельзя было ни говорить, ни думать.

Зима была их общей тайной, как извращённый акт.

X

«Игнатий Карамов» – что слаще, чем придумать себя заново, начисто?

Придать себе новые руки, уши, зрачки.

Например: пухлые белые жаркие женственные сильные сухие руки, влажные широкие глаза.

Но главное, совершенно новую душу без ущерба, без кариеса – с голубой девственной эмалью.

Игнатий Карамов не знает этой гнетущей никогда никогда не унимающейся тоски обречённого неумиранию ивана ильича уууууууу

Внутри вечно зудит ноет память о себе там о стыде там вылизываешь тарелочку плачешь оглядываешься воешь лижешь

Как все знатоки удовольствия, профессор был трусоват и хрупок. Удовольствие всегда было полно маленьких звуков – у него была своя особенная маленькая музыка. Вздохи, стоны, пришепётывания, притворные просьбы и укоры, невозможные уменьшительные суффиксы, вздрагивания, недоуменные открытия – все эти пузыри на поверхности главного страшного движения, которое так легко спугнуть.

У него была шея ящерицы и очень ласковые, очень тёмные глаза, которые становились совершенно мёртвыми, когда он кончал и когда он рвал, заменяя эту следующей, равно безликой и нежноротой.

Даже зрачки у него закатывались.

Бедным окружавшим его анемичным царевнам, мухам-цокотухам он сначала казался ласковым старичком, но, приклеившись, попавшись в его клейкое ледяное обаяние, они всё бились-бились, отдавая ему своё живое тёплое.

Поглощая, он шептал им – поглощаемым поглощающим:

«Смотри: так хищник силы копит: сейчас – больным крылом взмахнёт, на луг опустится бесшумно и будет пить живую кровь уже от ужаса – безумной, дрожащей жертвы...»

Они тогда двигались на нём как морские звёзды анемоны как нежные водоросли в приливе туда сюда туда сюда

Потом его сковало артритом, как льдом, и движение морских звёзд и всяких других водорослей затруднилось.

XI

Не посвящённые в тайну изумлялись его востребованности у юниц.

Ведь он двигался, как железный дровосек в начале повествования, и руки у него стали – как лапки у сокола.

Он был равно притягателен и смешон: и когда делился с окружающими своим свеженьким, новоприобретённым английским, и когда выкладывал, как козыри в неопрятно краплёной колоде, имена погасших знаменитостей, выпавших ему наблюдать, давно поглощённых всякими там безднами.

Извне снаружи нельзя было ощутить притягательности того, что было спрятано у него внутри его и притягивало: внутри у него была Пустота, наполненная временем, контейнер.

XII

Выпустить из себя (стихи) значило простить.

Выпустить и простить – как из плена.

Кого прощать-то? Ледяной город? Ледяной век? Ледяного себя в этом веке?

Прощение занимало целую жизнь.

Жизнь превращалась в заколдованный спешкой чемодан: кроме работы прощения, туда уже ничего не помещалось. Прощение как-то неловко преломлялось, изгибалось и становилось чуть ли не томлением по прошедшему.

Я всё пыталась понять – вот профессор с примятым венчиком вокруг лысины, жеманный, трусливый, все над ним посмеивались, даже его дуры улыбались, когда он...

А в нём жило вот это ледяное:

Она пожрала нашу кашу,
И опустели души наши,
А наши бабушки и дочки
Свернулись в белые комочки.

Прощение – оно всегда прощение, и не важно, какую именно историю ты не умеешь простить, скушную, частную, блёклую или масштабов Чёрного Карлика.

Механизм – один, и он сломался.

XIII

Выпустить из себя бурый белый вечер двадцать лет назад, когда окончательно стало тебе известно, что тот, из чьей головы ты вылупилась, мокрая и жалкая, в тебе не интересант?

Что прошлое, а значит, будущее твоё выблевало тебя из уст своих.

Что, проорав, как выблевав в лифт, слова оперной арии IL PADRE TUO! – он освобо-
дился от них, от этого имени PADRE PADRE.

Подумал о такой свободе, о которой песенки поют.

На назначенное собственной только что осиротевшей дочери свидание никогда не
явится.

Но в качестве утешительного приза тебе был послан на Невский силами провидения
дублёр-ангел-геранефор – чтобы глупостей не наделала.

Воды зимней Фонтанки приятны на вид.

Работа прощения вытеснила любовь наслаждение понимание болезни она вытеснила
язык вернее она заключалась в постоянном производстве собственного языка единственного

Тот, кто занят работой прощения, является моноглотом.

XIV

«Воспоминания о жизни в блокадном Ленинграде, как это ни парадоксально, овеяны
какой-то прелестью», – записывает в своём дневнике инженер-оптик, наблюдательный стро-
гий человек, вроде бы не склонный к бреду самооболащивания.

На той же странице дневника, пониже, в сдержанных тонах повествование о гибели
девушки-соседки, уволенной осенью 1941-го с работы (в городе экономили рабочие кар-
точки), до последнего выпрашивающей еду, но тщетно.

Что ж это за прелесть такая? Форма безумия?

Духовная прелесть (от «прельщение», «лесть») – высшая и очень тонкая форма лести,
то есть обмана прельщаемого. Церковью понимается как «повреждение естества челове-
ческого ложью». Состояние духовной прелести характеризуется тем, что человеку кажется,
что он достиг определённых духовных высот вплоть до личной святости. Такое состояние
может сопровождаться уверенностью человека в том, что он общается с ангелами или свя-
тыми, удостоился видений или даже способен творить чудеса. Впавшему в духовную пре-
лесть человеку могут являться «ангелы» или «святые», на самом деле являющиеся демо-
нами, выдающими себя прельщаемому за ангелов или святых. Также впавшему в духовную
прелесть действительно могут быть видения, на самом деле наведённые демонами или явля-
ющиеся обыкновенными галлюцинациями. В состоянии прелести человек очень легко при-
нимает ложь, являющуюся следствием демонического (бесовского) внушения, за истину.

Прелестью для прощателя является та власть, которою обладает над ним прошлое зия-
ние, беда, темнота. По-русски нет слова survivor – тот, кто выжил, кто вернулся.

Вот я сейчас и пытаюсь придумать слово, создать-передать существо, а главное, про-
цесс-способ сожительства с памятью о пережитом.

Прощатель пытается насуwać слов в свою тьму, как бумажных мякишей в мокрый
ботинок.

Чем больше в ней, в темноте во мгле, слов, тем слабее её прелесть.

Но слова эти уходят вовнутрь, а не наружу, словами ты кормишь чудовище.

Прощатель-упрощатель.

Сложное нежное подобное сну жалкое превращается в памфлет

Как узнать прощателя среди прочих?

Прощателя могила исправит.

Но могила вещь относительная – иным и могилы не предоставилось, а вот иным и в могиле – условия для духовного роста подавай.

Прям тебе По-По – Эдгар Аллан.

Максимов–Зальцман–Гор–Вольтман–Спасская–Крандиевская–Толстая–Гнедич...

Сколько их ещё таких, выживших и не очень, посреди которых пульсировал этот стыдный прелестный чёрный сгусток тайных стихов.

С одной стороны, малость какая: у человека целая жизнь целая жизнь до после кроме этой тетрадошки полка публикаций четыре жены резвая блестящая стайка предателей-учеников (school of fish) дача!

Но стоит также и заметить, что всю жизнь ты знаешь, и смерть соглашается с тобой: ничего, кроме этой тетрадошки, не было.

Она – твой сухой осадок, от тебя осталась только она – твоё прощение.

XV

Мне никогда не придётся сказать это, глядя тебе в лицо, и поэтому я скажу так.

Как говорила по телефону раз в год 4 февраля, когда широкий глубокий нетерпеливо бодрый голос спрашивал, как дела По-По-По-ля? (Вообще-то не заикается, но иногда заикался.)

Что за прозвище такое? Нет такого.

Не интересуясь ответом совершенно, начинал гудеть стихи – и это не удивляло. Чего не бывает! Бывает Дед Мороз Юрий Гагарин бывает Брежнев Ленин бывает (до шести лет думала это одно)

И вот этот голос – как в аленьком цветочке Кокто.

Сам по себе голос. Так я скажу тебе, Голос, мне жаль, что это правда, мне жаль, что у тебя не хватило воображения увидеть меня.

Но сырой весёлый сочащийся корчащийся кусочек мяса, которым жило-было (во) мне твоё равнодушие начинает сереть как питерское утро затихает угасает

Скоро я прощу тебя

Галерея

Заря Паблито

Такс, и утка, и коза смотрели на него покровительственно и вопросительно из сумрачных прохладных впадин комнаты.

Ослепительно-белая занавеска поднималась и падала на жарком белом ветру, прикрывая при падении туловце такса, делая его похожим на длинноносую бородавчатую карлицу в драгоценном пенюаре.

Правый глаз открываться отказывался – запал, как у контуженной куклы.

«Вот и лежу здесь – старая кукла, плешивый пупс с потрескавшейся, отшелушивающейся краской».

Когда занавеска задиралась и солнце заливало комнатку, он стонал, и утка отворачивалась – от волнения и стыда за него.

На низкой лавочке возле его ложа сидела женщина. Когда из соседней комнаты опять раздался преувеличенно приглушённый шёпот и клёкот, содержащий риторический вопрос о состоянии больного здоровья, она брезгливо махнула рукой убирайтесь мол и заткнитесь мол. Соблюдение утреннего ритуала, несение стражи при теле было стержнем её жизни: сидела она очень прямо.

Выбор говорят они разве у меня когда нибудь был выбор с детства меня пожирал ваш огненный огонь ваш огненный пёс вот всё что я знаю

С детства как пожарная команда тычет в огонь разъярённую кишку я сувал в пасть пса бесконечные отражения какие-то лица города чьи-то груди колени щиколотки колонны профили пейзажи (городские морские сельские) и очень много женских тел (плоскогрудых пышнозадых с выпученными гениталиями длинноносых тел и в бородавках)

Я тащил и пинал всю эту толпу на съедение огненному бесу как девственниц дракону поутру подавись залейся гадина. Дракон давился-таки рыгал переваривал и всегда требовал новеньких то есть вот совершенно новеньких других непохожих на прежних

Женщина, прямосидящая на лавочке, достала из круглой красной железной коробки и закурила свою коричневую, очень горькую сигарку. Он снова застонал, на сей раз одобрительно.

– Паблито паблито, – ласково закашлялась она, – это пройдёт теперь уже точно, ты идешь на поправку.

Припев этот обычно действовал на него магически, как карта острова сокровищ на юнгу Хокинса: на мгновение появлялся просвет, занавеска поднималась и опускалась. Он потянулся, и его члены, занемевшие от утренней тоски, оказались снова живые. Он был очень сильный.

– Паблито! – выкрикнул один из многочисленных игроков его свиты, поглощающий при этом маленький, сухонький снаружи, *кровавый апельсин*. – Ты же такой сильный! Возьми себя в руки! (Издаваемые этим человеком звуки подбадривания всегда были твёрдыми и определёнными, как будто он стрелял или пукал.)

Ты сильный ты большой ты всё можешь тебя любят звери деньги женщины критики тебя любит небо тебя любит война вдохновение твоё беспредельно и никогда не иссыхает

Eres grande, eres poderoso, puedes alcanzar todo!

Tu es grand!

– Ты всё можешь ты можешь всё. Tu es grand! – причитала женщина, слегка подывая, слегка раскачиваясь. Левым глазом он наблюдал её раскачивающуюся голову с сединой,

которая иногда нападает на очень молодых людей, как сентябрьский иней. Как-то всегда, в итоге, он оказывался моложе и сильнее своих молодых сиделок и оставлял их поседевшими с выводком громадных, красных от иберийского солнца младенцев, как будто вылепленных из красной глины. Папоцкамамоцка – деловитым басом покрикивали они ему вслед.

Но никогда он не оставлял своих женщин утром.

Утром он нуждался и бедствовал, маленький, нежный, слепой. Он нуждался в их заклинаниях, в их уверениях, в их сухих ладонях, глядящих его лицо, ступни, плешистую голову. Вот сейчас она станет класть ему в рот дольки апельсина, потом, предварительно подув, будет переливать в рот кофе из ложечки. Очень сладко и очень горько. Он опять застонет, перекатится на бок, одна нога, как питон, перетечёт в турецкий вышитый чёрным шёлком тапок. Притопнет печально.

С детства, услышав это негодное заклинание – *взять себя в руки* – он представлял, как приподнимает себя, и ласкает, и обнимает огромными, отдельно от него шурующими руками-щупальцами. О мерзость!

Левым открывшимся глазом он видит натворённое вечером (утром не без содрогания озираешься на ночные подвиги) – огромную глиняную миску с кентавром, тянущимся любопытной, осторожной пиписькой за надменной шлюхой, слабые, нежные оттиски – солнце, песок, собака, отрубленная голова.

Голова напомнила ему голову давно умершего друга – тот пришёл с войны с дыркой после взрыва, тот всё норовил показать, а он, Паблито, всё норовил увернуться от демонстрации содержимого таинственной дырки. Хотя и любопытно было тоже, конечно, – заглянуть в булькающий кровавый кратер.

Любопытство и апельсиновые волокна *взяли своё* – он потянулся к пёрышку и стал им выцарапывать на картонке отражение брезгливого такса: ржавое железное пёрышко, такое же как было у него в детстве. Тогда, именно тогда, когда впервые он нацарапал профиль суровой тётки с дюжиной разнообразных (вот тебе ключ – в разнообразии схожих вещей), натекающих друг на друга, как геологические напластования, подбородков, с огромным прекрасным пористым носом, он ощутил тепло, покой, отступление тысячегласой тоски. Всё, что имел-умел, он отдал в дань тоске – толпу изумлённых девственниц, свору собак, зияющую вонючую рану под вонючей повязкой в голове поэта, тысячи нацарапанных сцен – он не мог не производить их, бедный графоман, всё, что не было им отражено, пожиралось серым утренним студнем небытия.

Такс, стоически отказавшийся от преследования громахающего апельсина и драгоценного тапка, рассказывал ему о своих ночных тревогах, в прихожей становилось всё шумнее и страшнее, его свита грозила разорвать кишку коридора и вывалиться (или всё же ввалиться) в его утреннюю комнату, как трепуха у Рабле: «*Tu es grand! Мамоцка-папоцка!*»

Он оскалился и зарычал (все мемуаристы описывают этот псинный смех) и ринулся навстречу битве в сопровождении своих миньонов. Коза Эсмеральда не поспевала за ними и жаловалась.

О тех, кто губит корабли, приманивая их ложными огнями

Описать лицо женщины ревущей, именно ревущей, в самолётной утробной мгле.

Опухшее лицо и опухшая мгла. Соседка, такая милая, рот в милых морщинах, подуставшая от надорванных и смятых воплей, исчезает, чтобы вернуться с коньяком. Протягивает пузырьёк, и, рыдающая, гасит-растопливает горячим ледяной пузырь и – и – и – икает.

Ледяной пузырь, аквариум: он, смущённо улыбаясь, рассказал тебе историю подаренной ему ненужной, но золотой рыбки. Пленная прелестница всем была хороша, но слишком громко и обильно дышала.

Он ведь невероятно чувствительный: всё осязал обонял всё понимал всё видел слышал. Слышал, как по ночам рыбка дышит часто и глубоко, пытается жить, приподнимаясь к краешку, отделяющему воду от воздуха. Дыхание это ему было утомительно – и рыбка отправилась обратно к дарителю.

И вот что думала она, возвращаясь.

На жизненном пути нам встречаются люди, чинящие ущерб. Люди ущерба, люди-бури, после которых остаётся только оглядывать остатки своей жизни, машинально пошевеливая губами, подсчитывая убытки – дерево раздавило (только что починенную) крышу, мокрая мёртвая птица со скособоченной серой шейкой разлеглась на обеденном столе, вся усыпанная стеклянным крошевом.

При этом разрушают они себе не во благо, не находя горькой сладости в том, как картонные заграждения встречного сокрушаются. Природа их пользы-удовольствия косвенная, им невесело нарушать жизнь встречного: разрушенная жизнь *post factum* вызывает у них удивление, брезгливость, захребетный холодок.

Но вероятно, что-то в их заводе требует разрушения, отказать себе в этом они не вольны и с неловкой неотразимой улыбкой лесных царей выглядывают из тумана – навстречу зазевавшимся ночным ездокам.

Приближение таких людей можно предсказать – именно как приближение дурной, опасной непогоды, шторма.

Каждый раз незадолго до внеочередной встречи с тобой предтени/предтечи начинали своё суетливое мерцание, мелькание – вот кто-то подбросит совершенно и только твоё словцо, незнакомец в банке уронит твоим жестом шарф, а потом уже пошла лавина – падают на мокрый пол кошелёк и ключи: дальше – больше (вязкое набухание предгрозовой тьмы) – твоё имя начинает бликовать в досужих разговорах, и, как нарыв, всё это приближение, предчувствие нарастает, и новая встреча (в точности равная всем предыдущим) начинается свой острый отсчёт катастрофы.

Потом нежные верные прозрачные терпеливые ангелы спускаются нисходят приезжают и находят в виде раскромсанного соломенного чучельца разбросанного повсюду

Эхехе: ангел заправляет прядку за ухо.

Они поднимают несут тебя ставят на ноги заставляют танцевать заставляют быть.

Ты на сей раз отряхаешь морок небытия в музее (где ты только не приходила в себя – на стадионе, на вокзале, на бастионах Петропавловской крепости, в Берлинском зоопарке – в вольере для ночных животных...)

В музее на тебя дышит мокрым валом валит тёрнер.

Прозрачный, полный моря, воздуха, через который, как тряпочки и картоночки балетных декораций, тебе светят его цвета: золото-охра-серый-серый-чёрный.

Битва золотого и серого, и всё это как лава, главное – ничего не понятно, ничто не застыло, не определено, всё меняется и движется.

The Wreckers.

Погубители (разрушители, нарушители, кораблекрушители, разграбители). Берег Нортумберленда, вдали виднеется пароход, то ли 1833-й, то ли 1834 год.

В каталоге полотна указано в связи со следующими мотивами:

камни / ветер / опасность / мужчины / банды / корабли / пароход / замок / волны / кораблекрушение.

Вот именно что – камни-ветер-опасность, и внизу в правом углу муравьиный коллектив – крушители, они же люди, приваживающие все эти пароходы в надежде, что из их последнего рёва на берег выплеснутся полезные хорошие вещи.

Всё у него всегда смазано, не разобрать, что и где, как-будто он живописал – в слезах. Или как будто смотрящий на всё это – всегда и каждый – должен смотреть сквозь слёзы. Живы! живы ещё легенды о береговых крушителях, завлекавших терпящие бедствие корабли ложными огнями – на мели и камни, на погибель, на добычу, на ветер, на опасность.

Отставной офицер американского флота Джон Виль жизнь положил, чтобы дознаться об истинности этих легенд – в своём трактате он утверждает, что ложными являются не только огни, но даже и рассказы о них.

Допрошенный им один такой крушитель, собиратель морской добычки с Багамских островов, на вопрос: оставляете ли вы огни гореть ночью? – ответил смеясь: нет ну что вы на ночь всегда гасим *for a better chance* темнота – лучшая приманка.

Однако существует и легенда, что городишко of Nags Head, North Carolina, получил своё имя именно благодаря крушителям с их лжеогнями. Крушители-де вешали свои масляные фонари на шеи быков (а иногда бывало – кляч) и медленно прогуливали их в тумане, вдоль кромки прилива, по мокрому песку, тем сбивая с панталыку капитанов, боцманов, лоцманов и юнг, которые в конфузе бросали свои суденышки на мель, прямо на радость алчным потрошителям.

P. S.

На жизненном пути чинить ущерб-с приходилось и нам самим-с.

Мокрые огромные шеи волов, мокрые огромные тела кораблей, коричневые лиловые разводы тумана, крики, стоны, проклятья, заверенья – в чём?

Ты всё ходишь у моря, всё ждёшь, что судьба-погода подбросит тебе тебя самого: влажного, свежего, новенького и сильненького. А она всё тебе суёт – чужое.

Ты напряжённо копаешься в останках, в рухляди, в ветоши и роскоши разрушенной тобой чужой жизни – нет, нам чужого не надо, спасибо.

Сквозь стыдные злые слёзы ты рассматриваешь усатенькое милое лицо соседки, а потом все десять часов полёта спишь на её чужом плече, сопя и вздрагивая.

Горький в Лоуэлле

Кате Капович

В город я приехала поздно вечером, в снегопад, и завалилась на гостиничное ложе смотреть в телевизор. В нём парочка полицейских (он – квадратноголовый коротко стриженный немногословный белый вдовец, она – бешеная латина, стреляющая с двух рук), аналитическими способностями не уступающих арсену люпену и его Д., ловили насильников-маньяков в разнеженных снежных улицах Нижнего Манхэттена. На каждое головокружительное по запутанности и злодейству преступление у приятелей уходило ровно двадцать минут. Как бы чудовищно дела ни обстояли на, скажем, шестой минуте, – через четверть часа торжествовали остроумие и справедливость – мне всё это пришлось по душе и я запоем высмотрела пять серий.

Наутро снег всё ещё шёл, и я отправилась сквозь него по набережной пустого канала к зданию Аудиториума. Туда же семеняли мужчины в дешёвых торжественных костюмах и ослепительные женщины-птицы. Ещё бы, ведь в инструкции было написано, что прибыть на церемонию надлежит в подобающем случае наряде – в воскресном в чистом в праздничном. Передо мной по льду, залитому, как бурой менструальной кровью, соевым соусом для оттаивания, цокала старая пуэрториканская красавица в изумрудном платье с блёстками; она надолго замерла перед сугробом, не решаясь погрузить в него шпильку. О, вонзай же, мой ангел! – я маялась за её спиной, рассчитывая вступить в свежий провалец в ледяной корке. По восшествии в Аудиториум нас разобрали и разъединили, как чечевичные зёрна, – родственников высыпали на балкон фотографировать, а новообращаемых распределяли по секциям, где они тут же принимались фотографировать родственников, фотографирующих их с балкона.

На сцену вышел церемониймейстер и сказал, лучась, что судья запаздывает и чтобы мы не волновались. А мы и не волновались. Я почитывала классический труд Е. Г. Эткинда «Перевод и поэзия», где, забравшись в архив Лозинского, Эткинд обнаружил «тщательно переписанные и снабжённые в ряде случаев комментариями высказывания Маркса и Энгельса о Данте и его поэме». Я представляла себе томного тучного гения Лозинского, выписывающего эти цитаты на специальные карточки и с мазохистским умилением засовывающего их в особую папку, и тощего нервного гения Эткинда с садистским умилением эту папку обнаружившего и описавшего.

Тем забавляясь, я потаскивала из сумки шоколад, а мой, столь же не волнующийся, сосед-китаец сидел, вообще не двигаясь, – даже когда я роняла на него то книгу, то пальто, то шоколадные дребезги. Ожидание длилось часа три, несколько раз на просторную сцену выбегали солдатики и принимались бить чечётку: делали они это неловко, сбиваясь, но в моменты наибольшего ритмического напряжения не забывали выкрикивать: «Поздравляем вас, о новые граждане!» Зал ожидания неизменно взрывался благодарной овацией. В конце концов на сцену вышел лохматый добродушный судья, велел нам встать и принести присягу.

– Я, такая-то, абсолютно и совершенно отказываюсь и отрекаюсь от всякого прежнего принца и суверена, – проартикулировала я (такая-то) деревянными губами.

Поскольку покамест по причине блаженного дипломатического двурушничества мой прежний паспорт и право наведываться в иную страну никто у меня не отбирал, формула об отчуждаемом мною принце-суверене была облачной грядой, чем-то вроде каналов города Лоуэлла, утративших век назад свое прямое предназначение, – формула была пуста и просторна, но то ли я к ней привязалась, то ли она ко мне, не могла перестать повторять эти разительные слова:

abjure abjure

Судья предложил поздравить с превращением близидящих мы с чучелком развернулись друг к другу – как волки с негнуцимися шеями сразу всем туловом – и посмотрели друг на друга, так как мой китаец и не думал ни улыбаться, ни молвить слово, то и мне это показалось излишним, мы сурово кивнули друг другу, ну что, мол, друг друга таким образом отразили и на том разошлись.

Засунув в карман бумажный на занозистой палочке американский флажок, вручённый мне сумрачным школьником, и аттестат о натурализации, я отправилась пить кофе. Вероятно, это идея пришла в голову не мне одной, так как официантка спросила меня участливо:

– Натурализовались? И что, что-нибудь изменилось?

Я жалко улыбнулась в попытке изловчиться и изречь что-нибудь возвышенное, но она, не ожидая ответа, продолжила:

– Вот я тут замуж впервые вышла и всё себя спрашиваю: что, ну что изменилось? Ей было лет шестьдесят, у неё был именно такой, вроде тыквенного хвостика, седенький пучок, к которым был столь неравнодушен писатель Достоевский.

До поезда оставалось два часа, и их следовало убить. Чаще всего я использую для этого проверенный безжалостный метод – отправляюсь в местный музей изящных искусств. Опыт подсказывает, что таковой найдётся везде, в каждом городишке есть морг, банк и музей, в каждом музее меня поджидает замусоленная открытка, бледный (или, напротив, совсем тёмный) слепок сокровища.

Не может же Лоуэлл быть исключением!

Мимо каналов с полной талого снега коричневой водой, мимо кирпичных корпусов с заколоченными окнами, мимо трамвайных путей я отправилась на поиски своего музея. Путь мой, каким бы недоброкачественным сентиментализирующим упрощением ни казалось это мнемоническое движение, был неотличим от бредения/брёда, скажем, вдоль Обводного канала, скажем, в сторону фабрики «Красный треугольник», скажем, в конце зимы – то есть в мае. Когда мне довелось проходить мимо этой фабрики в последний раз, я поддалась влечению сердца и зашла в магазин-салон, где продавались, что же ещё, резиновые сапоги и галоши (рифмуется с крокодильими детьми), но были они с репродукциями картин мастеров. С галоши на вас по(д)сматривала блядовитая косенькая незнакомка Крамского, по(д)мигивали безглазые пейзажи Кандинского, крутились жуткие мельницы Ван Гога... Сопротивляться соблазну было выше сил человеческих, и я уже почти решилась на приобретение пейзажных галош с удвоенным ржавым прудиком капризника и проказника Левитана, как вопль и клёкот фурии «не меряй! запачкаешь! покупай как знаешь!» заставил меня отшатнуться и бежать прочь обратно к ледяному каналу.

После нескольких сеансов диалектической топографии с сонными аборигенами Лоуэлла мне удалось вычислить ту единственную старуху с таксой в шапке с помпоном, которым была ведома тайна музея – бледно-голубого деревянного дома напротив парковки. Обойдя его раза четыре, я различила живую входную дверь, и рванув её, ошеломила школьницу, сидящую на полу в наушниках. Она получила свой доллар, и я ринулась навстречу постоянной экспозиции.

Каковая состояла из нескольких изображений Лоуэлла во время его могучей юности и индустриальной мощи (в 1850 году в нём стучало более ткацких станков, чем во всей остальной поднебесной Америке), пары лунных и мутных пейзажей кисти знаменитости местного производства (бедняга так стеснялся своей связи с тучнеющим, стучащим станками Лоуэллом, что в метриках про место рождения врал, что родился в Санкт Петербурге (Россия). Школьница покорно предложила мне проследовать на второй этаж – к продолжению нашей коллекции.

На втором этаже было не топлено и очень солнечно.

Временная экспозиция. По стенам пылали и плыли и тлели картины и фотография художника в молодости. Впрочем, ничего, кроме молодости, самоубийце прижить не удалось.

В посмертной записке – даже здесь подыгрывавший своей персоне экзотического косноязычного страдальца – Арчил Горький написал:

«Прощайте, любимые мои».

Звали его, конечно, не Арчил и уж точно – не Горький.

Звали его оказывается.

Звали его, как я узнала только в тот день, как тебя, – второй раз в жизни я встретила человека с этим именем.

Только написано оно здесь было, естественно, латиницей и транскрипция с армянского произвела несколько иные очертания – с *г* на конце, – но, поскольку я проносила это имя внутри полжизни, как ветеран – вонючий склизкий осколок в кишках, я рассмеялась, встретив его, это имя, опять вне себя.

Да и не только в имени, видать, было дело: с фотографии на меня смотрело незабываемое длинное лицо, я бы даже сказала долгое. При первой встрече я смотрела на тебя так, что ты занервничал и попросил моё зеркальце, а твой тесть на поминках всё плакал и восклицал: «У него такое лицо было – ну не жилец, блядь!»

Я ещё немного подумала и поняла, что сегодня твой день рождения: вот и спразднуем.

(Когда ты погиб, меня, дабы руки на себя не наложила, отправили под надзор суровых и скорбных тётушек на берег сибирской реки, мне было девятнадцать лет, сил во мне было на десять жизней и столько же ярости на тебя за то, что все эти десять жизней придётся прожить впустую. Я всё время ходила к чёрной августовской реке выкрикивать из себя твоё имя.)

Решение Арчила Горького стать Горьким представляется мне триумфально-провальной стратегией при игре в прятки, которыми является любое переселение, любой побег, – кто не спрятался, я не виноват, кто не спрятался, тот не виноват, кто не спрятался, никто не виноват. Это ж надо – взять себе в качестве псевдонима псевдоним, многозначительное имя нарицательное для носки в мире, где оно ничего не значит, – горррки – пророкотала школьница, на мгновение вылезшая из наушников, как черепаха или улитка. В этом крике не возникло ни мышьячного привкуса, ни марксистской эмпатии, ни непристойного приказа ошалевшим брачующимся. Как и его эпоним, Арчил был сентиментальным инфантильным человеком, всю жизнь прохныкавшим о своей матери, погибшей от голода во время турецких игр, – старшую сестру растерзали у впечатлительного мальчика прямо на глазах. Всё это, как знать, отложило свой отпечаток: кроме повторяющегося десятки раз портрета с матерью, морщинистой Ниобой, его остальные шедевры представляют собой нефигуративные подтёки, похожие на фрагменты женских тушек, смазанных то ли желанием, то ли пресыщением (натурщицы, художницы, журналистки, актрисы, искусствоведки оставляли на его полотнах кто башмачок, кто лапку, кто грудку – лица были ему пресноваты).

Смерть его, как часто бывает, наступила от усталости.

Всё шло совсем неплохо: выставки в МоМа, дружба с Бреттоном, рождение темноголовых, похожих на жуков, дочерей, которых он регулярно переименовывал.

Все его журили (его жёны, его патронессы, их мужья), но терпели, терпел и он.

Но в одну прохладную весну что-то не задалось. Сначала был поставлен диагноз рака простаты (из-под сцены вырываются ключья назидательного адского пламени и такты Don Giovanni), потом диагноз был отменён, и напившийся на радостях везунчик попадает в автокатастрофу, растерзавшую ему правую руку и шейные позвонки. На шею водрузили гипсовую скобку, руке предсказали бездействие.

Разодрав доспехи, здоровой левой рукой Арчил Горький соорудил уже иную скобку и тем закрыл период.

Тут уж и мне надо было спешить на поезд. Будем прощаться. Я посмотрела долго-долго (как в кино) на голову быка, которую также можно было интерпретировать как трамвай. Обратный, отражённый путь только уверил меня в ощущении приторности заброшенных фабричных корпусов, каналов, церкви. Во сне ты понимаешь, что уже видел этот сон и что понимание это тебе снится также.

Сладко знать: ты ничего не знаешь, ты ничего не знаешь о будущем, но теперь ты знаешь о будущем хоть что-то – в этот город ты не вернёшься никогда.

Modern Talking

День засорён трудом.

В этой мутной тёплой гуще мелькают подводные солнечные пятна.

Что они?

Это – ты сама, ты вся, ты та, доходящая до себя сегодняшней только бликообразно.

Это – сизые черничные кусты в сосновом лёгком корабельном лесу, лес сверху раскрыт, беспомощен: у леса сняли (и потеряли, закатилась) крышку, как у алюминиевого бидона, и залили холодным солнцем.

Ослепительный свет льётся на маленькие насекомообразные яркие ягоды. Ты находишь их на ощупь. На ощупь. Они торчат, как жесткие, блестящие, весёлые клещи на собачьей пузе. Ягод здесь без счёта, сизые созвездия, уходящие в приземную тень. Лыбишься своей товарке по младшему пионерскому отряду Тане – синими губами, фиолетовыми дёснами, лиловым языком, зубами, как чёрный жемчуг. В малиннике кряхтит и трещит корпулентная воспитательница отряда. Малинник мстительно колется, защищаясь. Воспитательницу зовут Гера. После отбоя ты, взращённая на мифах Древней Греции, высушенных до неузнаваемой плоскости педантом Куном, заискивающе и надменно (сызмальства тебе удавалось это сочетание) заявляешь ей, что Гера, мол, это богиня-воительница. Усатая богиня польщена, взволнована.

Сорок панамок покачиваются в черничнике, как группа медуз на солнечной волне.

На горячей траве на просеке, заросшей полным прозрачного пламени цветком иван-чай, сидит человек Андрей. Кто он? – не было понятно и тогда, а уж сейчас совсем пропало – без следа.

Можно не помнить и не забывать одновременно.

Человек Андрей приبلудился к лагерю. Приблудок, придурок. Держали его для чёрной работы, на чёрный день. Выносить помои, чинить рухлядь. Он сидит на траве, щурится, закрывает лицо от солнца рукой. Чтобы лучше видеть тебя, дитя моё.

Ты не помнишь ни лица, ни голоса, ни очертания, но только помпезную неловкость своего положения. Все знают – в тебя влюбился придурок, прибившийся к пионерскому лагерю. Это так жалко-жалко, что никто и не думает дразниться. Все понимают. Он следует за тобой по пятам, глаз не сводит. По своему острову, по его пенной кромке следовал за Мирандой обеспокоенный своим желанием Калибан, изредка предлагая принцессе хорошие вещи: водоросли, коряги, пушистые дудки стеблей. В обмен она учила его говорить – она наполняла совершенно новыми словами его помыслы, чтобы тем горше он мог узнать: она никогда не повернётся к нему.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.